

Глеб Иванович Успенский

«Дохнуть некогда»



Глеб Иванович Успенский

«Дохнуть некогда»

*Текст предоставлен правообладателем.
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=665865*

Аннотация

«...земство, которое, на памяти у всех, задирало нос против всякой кокарды и навострилось выговаривать слово «администрация» таким тоном, которым прямо вызывало на личное оскорбление, дошло теперь до такого падения и низости, что, поминутно клянча у той же администрации о содействии, о помощи, особливо при «взысканиях», не в силах настолько поддержать свой авторитет в среде плательщиков, чтобы доставить этой самой администрации, единственной добычнице земской копейки в земские сундуки, помощь в самых элементарных вещах: езди, взыскивай, шуми, бранись, неистовствуй – этого земство желает; а вот устроить так, чтобы исправник, мировой, судебный пристав могли ехать каждый по своим делам и на отдельной подводе, – не может! Средств нет! Было прежде шесть троек на земской почте, а теперь только три, – вот и приходится какому-нибудь административному органу иногда по полусуток сидеть на вокзале, ждать другого административного органа, чтобы ехать вместе, хотя у каждого органа своя часть...»

Содержание

1	4
2	28
Примечания	44

Глеб Иванович Успенский

«Дохнуть некогда»

1

– Тоже, черт бы их побрал, земство называется, самоуправление! Трясись вот тут, на облучке, как калика какая переходящая!.. Все нутро-то выколотило, пока доедешь до волости... Только бы себе в карман хапнуть... дьяволы этикие!

Такие, не вполне резонные, но зато уж вполне сердитые слова говорил судебный пристав Апельсинский, сидя на облучке земской телеги и трясясь на ямах и колдобинах плохой земской дороги, местами покрытой еще не растаявшими пластами льда, местами, напротив, обильными полосами глубокой и жидкой весенней грязи. Пристав Апельсинский потому попал на облучок, что задние места той же самой земской телеги были заняты исправником и мировым судьей; желая вести беседу со своими спутниками, Апельсинский сидел на облучке задом к дороге и благодаря этому не имел возможности принять какой-нибудь предосторожности против неудобства дороги, почему и должен был поминутно прерывать свой разговор сердитыми и негодующими восклицаниями.

– Да осторожнее ты, братец! – вопиал он к ямщику. –

Ну что ты гонишь на рытвинах и ухабах?.. Авось успеешь... Вы тут, право, с вашим разиней-земством с ума спятили совсем... Деньги дерут, а в результате – извольте-ка вот поехать таким манером... Вот! Вот! Ну, брат, ты мне положительно спину переломишь... Это называется земство! Земский тракт! Ах, анафемы!..

Исправник и мировой судья, хотя и не поддерживали гласно мнений своего спутника, но, несомненно, глубоко ему сочувствовали. Судите сами: земство, которое, на памяти у всех, задирало нос против всякой кокарды и наострилось выговаривать слово «администрация» таким тоном, которым прямо вызывало на личное оскорбление, дошло теперь до такого падения и низости, что, поминутно клянча у той же администрации о содействии, о помощи, особливо при «взысканиях», не в силах настолько поддержать свой авторитет в среде плательщиков, чтобы доставить этой самой администрации, единственной добычнице земской копейки в земские сундуки, помощь в самых элементарных вещах: езд, взыскивай, шуми, бранись, неистовствуй – этого земство желает; а вот устроить так, чтобы исправник, мировой, судебный пристав могли ехать каждый по своим делам и на отдельной подводе, – не может! Средств нет! Было прежде шесть троек на земской почте, а теперь только три, – вот и приходится какому-нибудь административному органу иногда по полусуток сидеть на вокзале, ждать другого административного органа, чтобы ехать вместе, хотя у каждого ор-

гана своя часть.

Конечно, если бы все три административных органа, восседавших на одной земской подводе, могли и желали вспомнить прошлое этого ныне падшего в их глазах земства, они бы знали, что уже давным-давно само земство предвидело и публично заявляло о неминуемом своем падении, если только вместо простого, но существенно важного для народа дела оно принуждено будет ограничиться канцелярской суетой и вместо «дела» только бумагой, – конечно, повторяю, если бы рассерженные представители администрации помнили все это, они бы не удивились тому, что вместо трех троек им еле-еле удалось получить одну, а вместо «тракта» – ямы и лужи грязи. Но представители администрации не помнили этого; у них и у самих было довольно всяких душевных невзгод, вытекавших также из не вполне успешной, хотя и суетливой деятельности, и вот почему они вполне сочувствовали негодованию Апельсинского, который между тем продолжал свои речи таким образом:

– Езди вот для них день-деньской, как чорт какой-нибудь! Все бока-то переломал, ей-богу, право! И так-то уж, чорт знает, что за должность... получай да получай, а что с них возьмешь? Да и тут-то иной раз трясешься, как бы только господь сохранил в живых... ни дорог, ни мостов... ложись да умирай! Я намедни ездил также вот с исполнительным листом в деревню Незамайку... Так что ж вы думаете? Один день я всего-то и проездил, а чего-чего не натерпелся!.. Из

города выехал я, конечно, честь-честью – в вагоне, по железной дороге, во втором классе... Проехал до станции Масловки как следует, по-человечески... Из Масловки тоже не совсем по-свински; положим, что пароходишко еле-еле дышит, сто раз на мель садится в час, ну все ж таки; спросил закусить – подали карту, и на ней написано: «Шато-Бреян»... Ну, давай, какое оно там!.. Все-таки как будто в человеческом обществе... Но вот как пристали к берегу, тут и начало-ось! Сначала повез меня мужик парой в телеге... грязь по ступицу... драл, драл мужик лошадей. «Нет, говорит, надо перепрячь!» Еле-еле добрались до Осиновки, пересел в «беду», в двухколеску; поплелись лесом – то есть сущее божеское наказание! Нашвыряны по болоту бревна на аршин одно от другого, то в яму упадем, то на бревно еле влезем... Бились, бились – три версты пять часов ехали. «Нет, барин, неспособно так-то!» – говорит ямщик. «А как же быть?» – «А уж надуть верхом!» Что тут, делать? Бросили «беду», сели вдвоем на клячу, дули, дули ее и в хвост, и в голову, прошла две версты и стала, хоть убей, ни с места! Ни взад, ни вперед; да и точно: затянулась клячонка... «Как же быть?» – «Уж и не знаю, барин!» Попробовал я пешком, провалился по шею! Как есть в полном смысле слова! Даже портфель с повестками едва не утонул... «Ну вот что, барин, – говорит мужик, – лошаденку надо бросить, пушай отдохнет, а ты уж садись на меня верхом, делать нечего; авось я кое-как да кое-как доволочу твое благородие по пням-то до лесного объезд-

чика, а там, пожалуй, и лошадь добудем...» Ну что вы будете делать? Сел. Взобрался ему на плечи! «Ну-ко, господи, благослови!» У мужика-то палка – прет! С кочки на кочку, раза два оба чубурахнулись кубарем, ну, однако, не дошли! Захрипел мой мужик, шапку снял, мокрый весь... «Нет, говорит, господин, неспособно! Как бы, пожалуй, жила какая не оборвалась; пожалуй, помрешь!..» Нечего делать, слез я с мужика; стояли, стояли в грязи и уж совсем не знали, что делать! Хоть пропадай! Говорю: «Как хочешь, а доставай мне лошадь! Иди в деревню пешком, неси повестку старосте, а я буду здесь ждать!..» А заметьте, вечер, седьмой час; я вспотел, а уж крепко морозит... того и гляди тиф. Ну, пошел мужик. Остался я один в лесу. Жутко! Волки в эту пору стадами шляются. Думал, думал, вскарабкался на дерево, сижу! Да до глухой полночи проторчал на суке-то с портфелем, покуда уж к свету мой мужик приехал на подводе и уж кое-как доплелись до пароходишка... Конечно, я воротился опять по железной дороге. Иной и подумает: «Ишь, разъезжает на бархатных подушках!» А поди-ка, попробуй поездить-то!.. Да хорошо бы, ежели бы толк был, а то толку-то нет! Чего с них возьмешь? Им, незамаевским-то мужикам, и самим есть нечего, чего с них возьмешь? А поди-ка, оставь, не исполни, так ведь корреспонденцию такую отпечатают – любо-два... Дохнуть некогда, а из-за чего бьешься, сам чорт не разберет! Ведь вот я чуть было в лесу не умер, ведь волки налетели бы стаей, так костей бы не осталось, а иди, тащи

бумагу за тридевять земель. Кулачишка какой-то, изволите видеть, взыскивает с них тринадцать с полтиной за сено; сено, вишь, у него растащили, у негодяя... Да кабы у меня не хозяйство, так я бы сам его, анафему, в тюрьму бы заточил... Я его знаю, что это за живодер... А вот между тем сидишь на дереве, трясешься, что волки слопают... Я ведь тоже не палач какой-нибудь, понимаю, что нечего им есть, неурожай, а поди-ка!..

– Это верно, вашескобродие, – неожиданно произнес ямщик, – неурожай у нас, вот главная причина. Тут уж и хлопотать-то не из чего, верно вам докладываю... То есть чисто ни зерна, ни сена клока. Теперь вот, изволите видеть, снег еще не стаял, а уж мы гоняем скотину в поле.

– Да ведь там ничего нет! – заметил кто-то из трех седоков.

– Да именно и нету ничего.

– Так что ж она ест-то?

На этот вопрос ямщик сначала засмеялся, а потом вдруг снял шапку, перекрестился и сказал:

– Вот перед истинным богом, как есть, как перед создателем, говорю, то есть пес ее знает что она там ест... И ежели вам угодно, чтобы, например, можно было утвердить, что она ест, так неизвестно, что такое: идет в поле – брюхо пусто, как мешок болтается, а назад идет – эво как раздуло! А чтобы, например, сказать, что такое, так даже понять этого невозможно.

– А все-таки набьет брюхо-то?

– Набьет-с! Умереть на месте, а что набьет брюхо... Разопрет его вот как! а в чем именно заключается, никто не может понять. Мох, что ли, она там роет какой, глину ли какую жует, – этого никаким способом не можем понимать... То есть иной раз даже смеху достойно.

И ямщик действительно засмеялся, прибавив:

– Вот извольте посмотреть, ведь вот вся тройка существует почитай что неизвестно чем, а ведь бежит-с!

И в доказательство полной непостижимости обсуждаемого факта ямщик тронул возжами, хлестнул по всем по трем и, промчав своих седоков с полверсты по ухабам и грязи, обернулся к ним с удивленным лицом и сказал:

– Ведь ишь как орудуют! а какая такая пища им способствует – неизвестно... Истинно, надо быть, только что господь нам помогает, питает скотину по премудрости своей. Все кое-как дышишь, а то бы...

– Да! – почему-то с некоторой укоризной проговорил Апельсинский. – Вам вот все как-то господь помогает, а ты поди-ка в нашу шкуру влезь! По-вашему, «господа, господа – невесть что такое», а поди-ка, попробуй... У вас вот тут неурожай, – это мы отлично и без тебя знаем, – а лошадь-то вон у тебя все-таки, как-никак, бежит... Чем она сыта – тебе это неизвестно, а ты все-таки в телегу ее запряг да поехал на станцию, да пассажира посадил, – вот у тебя рубль или полтинник и есть.

– Да только что тем и дышим, перед богом ежели сказать!

– Да! Однако дышишь. А ты поди-ка, поживи-ка без божьей помощи, да чистые денежки отдай за каждую малость, так не так бы запел. Неурожай, неурожай! Я вот хорошо знаю, что неурожай у вас, и ничего нет, и есть нечего, однако еду, мучаюсь, на дереве вон чуть не замерз, а знаю, что без толку.

– Так чего уж беспокоиться-то? – робко спросил ямщик. – На дереве, в лесу – это тоже очень мудроно. И верно, что волки ходят. Сохрани, господи, от этого! Так я так думаю: ежели уж неурожай, например, божеское наказание, так мне, примером сказать, на дерево с бумагой лезть? Да волки еще съедят. А что толку-то?

– Да и без тебя я знаю, что толку никакого нет и не будет, да вот, видишь ли, в чем дело: у меня, друг любезный, шестеро ребят, да как разинут они рты с утра, так как, по-твоему, будут они сыты, ежели я их в поле выгоню: «Набивай, мол, ребята, брюхо, чем вам будет угодно, что, мол, вам бог даст?» Как ты об этом полагаешь?

– Господи, помилуй! – сказал ямщик с удивлением. – Кажется, мы можем понимать...

– То-то и есть! Так тут полезешь на дерево. «Господь помогает!» Нет, у нас, брат, нету этого, а отворяй кошелек да деньги вынимай... Да и тут еще, бьешься, бьешься хоть бы с ребятами одними, а и то... неизвестно еще, что выйдет... Ошибся твой сын в склонениях или там в спряжениях, на-

казали его, нагрубил он – и убирайся на все четыре стороны. Все и пошло прахом. Куда его пристроишь? Везде и так битком набито народу. И ты-то не справишься с головой, да и он-то тоже очумелый ходит. Иной глядит, глядит, да и пустит пулю в лоб... Много этаких случаев было... А ты после всех твоих хлопот да забот остался только что в дураках... Нет, брат! Это вы тут, полушубники, про нашего брата судачите: «Баре да баре; готовые деньги берут, ездят взад и вперед, а толку нет», – а ты поди-ка, в нашей шкуре посиди, давно бы уж; волком взвыл.

– А много ль у тебя на шее народу-то? – спросил Апельсинского исправник.

– Да ежели все рты сосчитать, так, пожалуй, человек пятнадцать, а то и больше наберется... Сколько одних стариков да старух, да все крепкие, бог с ними... Так вот тут и подумаешь, да не только что на суку готов, как птица, сидеть, а придется, так и летать начнешь по воздуху, а как принажмет семья, так и нырять начнешь, как торпеда какая под водой... Нет, брат, нам господь не поможет! У нас, брат, «купи», а так, чтобы брюхо набить неизвестно чем, этого у нас нет... Вот и вертишься, как бес перед заутреней... Да еще неизвестно: это теперь человек пятнадцать сидит на шее, а может, и еще бог пошлет... Это еще неизвестно!

– Так ты бы того, – не без иронии проговорил исправник. – Ты бы прекратил...

– Чего прекратил?

– Да, то есть распространение-то, например.

Апельсинский пристально посмотрел на исправника, помолчал и, наконец, проговорил, понизив голос:

– А ты-то, сам-то, прекратил уж, поди?

Исправник захохотал. Захохотал и извозчик и, стегнув лошадь, проговорил:

– Прекратишь, как же!

– Ну так нечего и болтать! Вон Арапкин-то, сам, чай, знаешь, почти что совершенно ошалел от этого самого многолюдства, а поди-ка, заикнись ему. «И не знаю, говорит, что будет: дети да дети, а окончания не предвижу!» Уж и я-то ему сказал: «Ты бы, говорю, поосторожней!» А он что мне на это ответил? «Поди-ка, говорит, попробуй! У меня жена с детства воспитана в таком мнении, что она пикантная женщина. «Я, говорит, пикантная!» А пикантная-то, что такое означает? Знаешь ли ты это? А пикантная-то то означает, что «чуть что», ан она и сделает каламбур с офицером, вот тебе и сказ!» Так Арапкин-то и говорит: «По этому, говорит, случаю я и должен продолжать... и единственно, говорит, из-за одного реноме, а то бы, говорит, давно уж надобно бога вспомнить!.. Потому что, говорит, случись этакой какой-нибудь эпизод, сейчас осмеют, пойдешь дураком, и с места согнать не поцеремонятся. Только, говорит, единственно из-за одного реноме!» Реноме-то оно реноме¹, об этом чего уж разговаривать, а только что поглядел я как-то на этого Арап-

¹ Доброе имя (франц. renommée).

кина, так ведь человек-то совсем вроде полоумного стал: бе-
гает по городу, деньги занимает у встречного и поперечно-
го... «Земство, говорит, затягивает, не выдает»... А какое
уж, чай, земство?

– Ну это-то точно, верно! – довольно серьезным тоном
проговорил исправник. – Подожди да подожди, это сколько
угодно! И все на нашего брата сваливают; понуждения, мол,
нет относительно взыскания... А какого понуждения нет? Я
даже и не помню, когда своим голосом говорил: только и де-
лаешь, что орешь, да шумишь, да свирепствуешь... Сегодня
вот в шести волостях надо бушевать, все мало!

– Ну в этом, я думаю, и им надо дать извинение. Тоже и
у них пикантные штучки существуют, да и насчет репутации по
ннешним временам не зевай... Подвернись там какие-ни-
будь деньжонки, так, разумеется, прежде всего себе в кар-
ман сунут, а уж никак не тебе... Да из-за чего и биться-то
в самом деле? Конечно, только из-за денег и маешься, как
маятник, ни днем, ни ночью покою не имеешь... Ежели за
этакую маяту да денег давать не будут, так это лучше пет-
лю на шею... Да что же, в самом деле? Какое такое получа-
ешь удовольствие? Что я, от удовольствия, что ли, на дере-
ве-то чуть не замерз, или приятность мне, что ли, какая по
мужицким избам ходить... или тебе вот орать, горло драть?
Конечно, семейство... А семейство-то вот иной раз за твои
хлопоты да мучения возьмет да и плюнет тебе в морду. Да!
Вон у Кузьмичова, у Ивана Егорыча, сын, так что ж он сде-

лал? Отец-то бился-бился для семьищи, растил-растил их, – ну, конечно, не без греха... На одно жалованье такую ораву где же прокормить?.. А сын-то пришел в возраст да вместо благодарности и пропечатал все отцовские поступки, да и в глаза-то отцу прямо так и ляпнул: «Вы, говорит, папенька, не благодетель для народа, но враг и зло! Я, говорит, должен вас обличить для общего блага, не как отца, а как общественно-го деятеля, злоупотребляющего общественным доверием!» И подвел под суд... Правда, и сам пулю в себя всадил, да отцу-то каково? Он и воровал-то, может быть, для семейства, а семейство-то вон как его на старости-то лет... Вот и подумай! Сидишь-сидишь иной раз на суке-то на каком-нибудь, как птица перелетная, да подумаешь о том, какая будет благодарность, ан и жутковато станет на свете-то жить...

– Да, – вздохнув, сказал исправник. – У меня вон дочь родная двадцати лет ушла из дому в учительницы, да меня же и выбранила. «Вы, говорит, работаете против народа, а я, говорит, буду ему служить; мы с вами не товарищи». А как я ей представил вопрос: кто ж тебя вырастил, вспоил и образовал? – так она мне такую отрапортовала рацею, что окончательно я вышел, по ее мнению, извергом рода человеческого. Что ж? Пускай поживет на своем хлебе! А кабы побыла на моем месте, как я двадцать лет ни днем ни ночью покоя не имею, так узнала бы, каково легко деньги-то достаются на газеты да на журналы. Может, там, в газетах-то, и правильно пишут, только эту газету надо купить, а купи-

ло-то нашему брату не очень приятно достается... Коли не раздерешь глотки со старшинами да со старостами, так начальство-то и без тебя обойдется, а ты зубы на полку клади... Ну да что!.. Как-никак, надобно век доживать. – Да еще доживешь ли век-то мало-мальски по-опрятней, и того неизвестно... Ты вот о семействе... а ему какое дело, как ты там орудуешь? Мне вон иной раз и рассказать совестно, какие такие мои были труды; я расскажу, а меня мои же ребята на смех могут поднять, да еще злодеем пропечатают... Их, брат, тоже по нонешнему времени не очень ловко кулаком к уважению приводить... В старину я бы огрел его оплеухой, вот он бы меня и не критиковал, а теперича я не моги этого... Ну и молчишь... Таскаешь деньги и помалчиваешь... А ведь семье без уважения к отцу и мужу тоже, брат, трудно существовать... Как бы не рассыпалась вдребезги... да! Да ты что думаешь? Мне вот недавно один флотский какую историю рассказал. Приехал я как-то на станцию, жду поезда – часа четыре мне пришлось на вокзале проторчать. Приехал, смотрю, а около буфета какой-то человек вертится. По платью-то вижу – флотский, только что в большом градусе, весь в грязи, шатается, бормочет что-то, орет, а уж человек не молодых лет. Болтается этак около буфета, и все хлопает, да все буфетчику приказывает: «Побольше, мол, налей рюмку». Вижу я, что и очень уж он грузен стал; и на стол наткнется, и на стул опрокинется, а тут как-то ни с того, ни с другого подскочил к лампе, схватил ее со стола да об землю.

Слава богу, лампа-то была не зажженная, а то бы пожар наделал... Разбил лампу и заорал: «Вот он, враг мой, вот он где! Будь он проклят!» Я уж подумал, не допился ли он до чортиков; думаю, не наделал бы чего худого, подошел к нему, говорю: «Что вы беспокоитесь? Какой враг? Никого нет». – «Нет, говорит, есть; вот он – мой враг, керосин! Вот он, мой злодей!» И стал топтать лампу ногами... «У меня, говорит, теперь приюта нет! Я семьи лишился... Это он, дьявол!» Что такое, думаю, каким образом керосин... семейство... и такой гнев? Но все-таки, думаю, что нельзя ему давать воли; кое-как уговорил его, уложил на диван. Похрапел он часа два, разбудил его сторож, и пришлось нам ехать вместе. Хмеля все еще много было в нем, да и у буфета он прибавил стаканчик на дорогу. Тут с него взяли за лампу рублей пять. Как напомнили ему о лампе-то – «А, говорит, очень рад! Разбил? Отлично. Это моя месть за все!» – «Да что такое? – спрашиваю его, как уж мы в вагоне очутились. – Как это так керосин вас оскорбляет?» – «Не оскорбляет, говорит, а разрушил всю мою жизнь и превратил меня в ничто! Вот что такое керосин для меня!» Слово за слово, дальше – больше, и оказывается в чем же дело? А был он, изволите видеть, смотрителем маяка; человек женатый, семейный... Где был этот маяк – не упомяну хорошенько, а знаю, что по его словам выходило, будто бы освещение на маяках масляное, то есть деревянным маслом. Между тем жена у него тоже, как видно, дама была пикантная, бонтонная: по-французски, по-

немецки, на фортепианах – все как следует. Расходу, понятно, пропасть, потому что «не считать же ей там какие-то копейки, и она не кухарка». А детей в то же время весьма довольно, и что дальше, то больше расходу. В это время объявляется керосин и возникает мысль применить его к освещению маяков. Экономия важная, так как на войну истрачено было очень много миллионов... Вот как возникла эта мысль, так этот самый офицер и задрожал по всем суставам. – «Потому что, говорит, жена моя завела такие порядки, что при керосиновом освещении не было никакой возможности существовать; все в доме держалось исключительно благодаря деревянному маслу, и цена на бочку масла и бочку керосина – никакого сравнения, и насчет экономии...» Словом, как только будет керосин, так жить нечем, хоть по миру иди. А начальство между тем запрашивает – нельзя ли экономию сделать? и т. д. «И тут, – рассказывает мне бедняга, – стал я, говорит, уж врать и плутовать». То есть, конечно, уж и до этого времени он пользовался, показывал одно, а тратил другое, но тут пришлось врать на особый манер. «Лет восемь, говорит, я только и делал, что лгал перед начальством, единственно из-за семейства и потому, что жена иначе не может жить. И сначала, говорит, врал я по науке, с вычислениями и таблицами: сила света, расстояние, – словом, врал по морским правилам, доказывал в том роде, что, если будет отменено деревянное масло, тогда Англия нас может превзойти; кораблекрушение, говорит, даже одно устро-

ил, и доказал так, что именно оно от керосина... Ну, говорит, кое-как да кое-как протянул таким манером лет пять. А тем временем дочь гимназию оканчивает и жена хочет вывозить ее. Что тут делать? Между тем начальство уж и посерьезнее стало приставать, а по морским наукам врать мне, говорит, стало нечего, истощил я все; что было можно по этой части соврать, давно уж соврал. Пришлось мне, говорит, врать без всякой совести... «Горелку, говорит, надо приспособить, а потом и опыт». Начальство пишет: «Поспешить приспособлением горелки». Я, говорит, отвечаю: «Приспособляю немедленно», а между тем полгода кое-как со дня на день и протяну... Через полгода начальство спрашивает: «Что ж горелка?» Отвечаю: «Горелка приспособлена, но требует исправления» – и опять полгода. А тут уж жених стал свататься... Тут начальство опять вопрошает: «Да что ж, наконец, горелка?» Отвечаю месяца через два: «Горелка готова, но не доставлена». Спрашивают: «Когда будет доставлена?» Отвечаю через месяц: «Горелка будет доставлена в непродолжительном времени»... Тянул-тянул, врал-врал... вдруг ревизор, как снег на голову! Прямо ко мне со всеми документами... Все раскопал, разрыл, рассортировал... под суд! Жена моя бросилась к нему, но он так ей меня расписал, так, прямо скажу, справедливо, так все мое лганье-вранье представил ей, что... что вы думаете? Влюбилась в него по уши! «Герой! – говорит. – Идеал! Неумолимый! Честный! Непреклонный! Вот мужчина!» Закружилась, завертелась, за голо-

ву хватается: «Вся жизнь пропала с каким-то воришкой... Вот человек! Вот гражданин! Я не могу, уйду!» И ушла».

– Ушла? – спросили одинаково изумленным голосом исправник и мировой.

– Ушла! Вот ведь что!.. Дочери – невесты, а она, сама мать, ушла... Говорит: «Вот кому готова отдать жизнь! Вот где энергия!..» А тот ей, конечно, расписал это деревянное масло с высшей точки зрения: отечество, родина, Англия, Португалия и тому подобное.

– Ну, конечно, – сказал исправник.

– «И как я могла жить, погубить свою жизнь с таким подлецом?» Это жена-то. А муж-то говорит: «Да ведь я подлецом-то из-за тебя стал! Ведь из-за кого же я и воровал, и крал, и обманывал?» Ну вот в эту-то пору я и встретился с ним. Совсем малый ошалел: жена бросила, куча народа на шее и к тому же под судом... Ехал в Петербург – оправдываться... и все пил. Как увидит лампу – хлоп ее кулаком: «Вот, говорит, где драма в пяти действиях!» Так вот иной раз как семейство-то орудует! А спрашивается: из-за чего же колотишься-то, как не из-за семейства?

Несмотря на обильный материал ко всевозможным островам и шуткам, который, казалось, мог бы доставить рассказ Апельсинского о керосиновой драме, никто, однакож, из слушателей его почему-то не счел уместным шутить или острить по поводу несчастий несчастного моряка. Напротив, все, не исключая и словоохотливого Апельсинского, как буд-

то бы попринунили; мировой судья, слушавший этот рассказ с особенным вниманием, произнес по окончании его самым многозначительным тоном: «Н-да, все это вещи довольно сложные!» Исправник ничего не сказал, но глубоко вздохнул, а Апельсинский совершенно примолк на некоторое время.

– Ишь ведь, каки дела-то! – произнес шутливо ямщик, весьма внимательно вслушивавшийся в рассказы и разговоры Апельсинского. – Что значит этот самый Нобель-то американский²!

Но и эти шутки не развеселили наших путников, так как всем им, вероятно, вовсе не в шутку были знакомы кое-какие из треволнений семейной жизни, разговор о которой так случайно завел Апельсинский.

– А ты, любезный, пошевеливай-ка! – довольно сурово сказал исправник извозчику. – Некогда раздобаривать, да и в волости, поди, уж давно дожидаются...

– Потрогивай, потрогивай! – присовокупил Апельсинский тоном довольно деловитым.

Извозчик тронул лошадей, но, желая изгладить в своих седоках неприятное впечатление неудачной остроты, произнес, не обращаясь собственно ни к кому из седоков отдельно:

– И трудно ж только, ваше высокоблагородие, ваше дело, погляжу я... Что одной езды! Что, например, разных членов

² *Нобель*. – В 1874 году было организовано товарищество братьев Нобель для разработки русских нефтяных месторождений.

ездит, что всяких начальников!.. Уж, кажется, что такое наш брат, мужик, старшина какой-нибудь, а и тот еле-еле тройкой обойдется...

– Вам только и видно, что ездят! – сурово сказал Апельсинский. – Только езду и видите... Мне одна старушонка-раскольница тоже вон так-то: «И что это вы беспречь тут ездите, толчетесь? И когда вы наездитесь? И чего от вас проку-то?» Только езда у вас и на примете... А не ездите, так.

Апельсинский хотел было опять упомянуть о семействе, но увидел, что этот аргумент вовсе не будет убедительным для ямщика, и потому замолчал, прибавив только:

– Езду только и видите!

– Мы, ваше благородие, не то что езду, а и беспокойство ваше видим, – сказал извозчик, – а только что сумлеваемся насчет хлопот-то... Ведь мы видим хлопоты-то! Старшина вон пустится по волости, дерет-дерет, с позволения сказать, по мягкому-то месту, а ведь хлеба-то он из мякоти-то нашей не выбьет... Вот собственно насчет чего... Вот и насчет езды то же самое. Чай, не одна езда, а беспокойство, труды всякие, огорчения, а нету хлеба, так и взять нечего... Вон тоже следователя вчера возил по убийству, так тоже разговор был. Я говорю, кабы у нас недостаток был, так и беспокоиться вашему высокоблагородию нечего... Вот она, девчонка-то, ухлопала дубиной двух старух, и ее за это за самое в острог надо, и вы, ваше высокоблагородие, по этому случаю из города приехали, побеспокоились; а ежели вникнуть, так

и окажется дело-то таким манером, что кабы не нужда, да не горе, так и не за что бы девчонку-то в острог сажать. Вот про что-с! А не то что «езда, езда!» Мы тоже видим... Девчонка-то эта без матери, одна у отца, на руках куча ребят, а хлеба-то нет, неурожай у нас; вот и нужен в доме мужик, а чтобы мужик-то пошел, надуть его приманить, надуть тоже хоть на посидках какой-нибудь достаток показать. Вот девчонка-то и пойди к старухам-теткам, не дадут ли нарядов ей каких, потому надо спешить со свадьбой: не выйдет осенью – до весны не дотянут, а с мужиком все хоть самой-то уйтить можно в прислуги. А тетки-то, вишь, пожадничали; сундуки полны у старух-то всяким добром, да жадность велика – не дали! Думала, думала, горькая, да и украла у старух-то чулки там, сарафана два, два али три платка – утащила, да домой. А старухи-то догадались, да за ней, да настигли ее дома-то ночью; да со зла одна тетка-то прямо начни ее бить поленом, а девчонке-то, само собой, обидно стало, да и испужалась она, – она ихвати старуху-то таким же манером, то есть, стало быть, поленом же ее треснула, а старуха-то и дух вон!.. Ну тут уж и испугалась, да со страху и другую прикончила. Ну и должна идтить в острог... А как ежели разобрать, да был бы достаток, да сиротство-то ежели бы у нас человека не заедало, так, пожалуй, и без острога бы дело-то справилось. Опосля этого случая, как нашли убитых в проруби, купец у нас тут один говорил: «Кабы знато да ведано, так я бы и так ей пятьдесят целковых дал бы на свадьбу!» Эво когда! То-

то и есть-то! А как надо, как припрет к горлу, так норовят поленом человека отблагодарить... А начальству хлопоты, разъезды, все такое – пакеты разные печатать, писать – все хлопоты, а так, чтобы настоящего устройства...

Ямщик во-время остановил свои неуместные речи и прибавил:

– Я докладывал об этом судебному следователю и все им подробно обсказал. Так они так сказали, что верно, мол, справедливо. Что ж мне? Мне врать не из чего... Даже водкой в кабаке угостили господин следователь-то!

– Ну, конечно! Известный пьяница, – сердито сказал исправник. – Недолго он насидит на своем месте. По кабакам-то очень охотник разглагольствовать.

– Такой простой барин!

– То-то прост очень.

Ямщик понял, что ему следует замолчать, и замолчал. Но и слушатели его тоже молчали, так как настроение духа их, благодаря случайностям дорожного разговора, становилось все сложнее и все неприятнее. Сначала Апельсинский омрачил душу путников, заведя речь о той тревожной, беспокойной жизни «ихнего брата», которую он весьма верно охарактеризовал выражением «дохнуть некогда», и заставил каждого из путников припомнить целые долгие годы этой беспокойной служебной маяты, а заставив припомнить эту маяту, заставил каждого из измаявшихся и пожалеть самого себя, подумать о том, «из-за чего, мол, все это?» Но едва только

путники начали было сожалеть о самих себе и едва только они ощутили к самим себе сострадание, едва только они хотели было объяснить свою каторжную жизнь горячими заботами о счастье семьи, как тот же словоохотливый Апельсинский ни с того ни с сего завел речь об этой самой семье – семье, из-за которой люди всю жизнь «бьются», «терпят», как речь пошла о таких, не подходящих к подобному настроению чертах семейной жизни, которые заставили усомниться этих измучившихся во имя семьи людей в том, что мучения их имеют хотя какие-нибудь плодотворные результаты. По словам Апельсинского выходило, что как только в семье, в том или другом виде, проснется в ком-нибудь из ее членов стремление к правде и к справедливости, так все эти хлопоты, заботы, все тяжкие труды, подъемлемые тружениками во имя семейства, разлетаются прахом, все разваливается, и вместо благодарности за заботы, труды и печали труженика может ожидать нечто, совсем не похожее на благодарность. Стоит ли эта бесконечная маята того, чтобы выращивать людей, которые только и могут, что издеваться над этой маятой и бежать от нее, как от глубокой неправды? Мысль о непрочности так называемого семейного счастья, о том, что счастье его и смысл вовсе не зависят от этой непрерывной маяты, не только не подходящую к желанию пожалеть себя, возбужденному рассказом Апельсинского в начале беседы, но, напротив, нежданною, неприятною, неделикатною гостьей врывается в душу, запрещала жалеть себя, свои в беспокойствах

прошедшие годы, потому что для самого-то главного резона этих беспокойств – семьи – они ровно ничего не значат и ничего хорошего в нее не вносили... А тут, как на грех, не успели собеседники рассеять в себе нескладное ощущение борьбы собственных мыслей о полной ненужности «каторжной жизни» для блага их семейства, как ямщик своими разглагольствованиями о неурожае коснулся ненужности той же самой маяты и по отношению уже не к семье, а, так сказать, к отечеству, к народу. По его словам оказывалось, что эта непрерывная езда господ членов, сопряженная как с бесчисленными беспокойствами этих «членов», так и с весьма реальными страданиями бесчисленного множества «мягких мест» в империи, что все это не имеет никакой связи с действительными источниками совершающихся в отечестве-народе жизненных явлений; что такие простые, видимые для ямщика и всех его седоков явления, как неурожай, «нехватка» в хлебе, в работе, в земле и т. д., совершенно ясно и просто выясняют ту пропасть всевозможных «дел», во имя которых идет эта бесконечная «езда», бесконечное беспокойство господ и во имя которых, наконец, всем этим господам «некогдадохнуть».

И вот почему седоки земской повозки замолчали и ехали молча. А извозчик между тем с каждым шагом все ближе и ближе подвозил их к селению, в котором всем им предстояло совершить бесчисленное множество тех самых дел, которые как будто ничего не значат и ни для кого не имеют ровно

никакого результата, кроме «езды» и «беспокойства».

2

Вот мелькнула изгородь села, вот и трактир «Белая Лебять», миновали и «Бакалейную и мускательную лавку с колониальными товарами» и подкатили к волостному правлению, а здесь, не более как через несколько минут, принялись и «дела делать». Судебный пристав, засучив панталоны, с портфелем подмышкой и в сопровождении десятского немедленно же отправился «описывать какого-то теленка», увязая по колена в грязи и проклиная свою участь; мировой судья поместился в одной из комнат волостного правления, а исправник – в другой. Один стал судить, а другой – бушевать. В сенях и на лестнице волостного правления, наполненных народом, настала мертвая тишина; только сторож поскрипывал сапогами, пробираясь к чуланчику, чтобы посмотреть, достаточный ли там запас розог. Сторож, как и весь народ, наполнявший волостное правление, не исключая и начальников, также очень хорошо знал, что в сущности все дело в неурожае и вообще в «нехватке», сопутствующей мужику на всех путях, тем не менее, заглянув в чулан и убедившись, что розог припасено довольно, успокоился и притих.

И вот среди этой тишины из камеры мирового судьи, стали доноситься такие речи:

– Да помилуйте, вашескобродие, как же мне его не обругать? Он же меня обчистил всего, всего меня оплел, значит,

да не скажи я ему неласкового слова?

– Он – староста, начальник, и обращался к тебе с требованием податей, следовательно, по делу казенному, то есть он исполнял свои обязанности, и ты не имел права его ругать.

– Да чего же он, пропади он пропадом, теребит меня, когда я у него даже до последней жениной кацавейки позакладал? Ведь он, жид, ковриги хлеба не поверит без залогу-то! Ведь кабы ежели бы господь урожаю дал, так и без него бы пробились, а то, сами извольте подумать, как же тут управляться! Я ему телку должен был отдать своими руками за пять целковых, а кабы недельку погодить, так она бы пятнадцать серебром дала – вот и подати, а то он же меня обобрал, да я же ему и виновен.

– На него ты можешь жаловаться, если он тебя обидел, можешь взыскивать, но публично ругать его непотребными словами ты не имеешь никакого права. Он – начальник, он требовал денег не для себя, а как начальник, понимаешь ты?

– Чего нам понимать-то? Разбирай его, дьявола, когда он – грабитель, когда – начальник... Нам тоже недосужно... Вон третий год недород у нас... а тоже...

– К аресту на одни сутки. Доволен?

– Ну, пес с ним. Пущай, доволен.

– Маловато, вашескобродие! – послышался было голос из толпы, но на него не последовало ответа потому, что заскрипели перья, строчившие решение.

Слово «маловато» было произнесено одним из обижен-

ных, и таких обиженных в дверях комнаты мирового судьи стояла целая толпа. Все это было сельское и волостное начальство; а известно, что начальство это, ознакомясь с правом иметь в своих руках мирские деньги, очень ловко пользуется ими для своих личных выгод и именно благодаря этим-то, очень короткое время остающимся в его руках деньгам и вырастает в кулаков. А когда же кулаку и раздолье, как не в неурожай, когда человек и заклад несет, и телушку продает за бесценнок? Тут-то и наживаться. И вот, наживаясь лично, это же начальство пристаёт к объединённым им же людям с требованием податей, или с требованием своих долгов, нужных на новый, более выгодный оборот. Неудивительно, что их ругают, а иногда и бьют, и в лицо им плюют обиженные ими люди; и вот это начальство наказывает их за оскорбление себя как начальства, а не как мироедов. Неурожай был большой, кулаков много, наживы много, а стало быть, и много бедности и негодования, а стало быть, много и дел об оскорблениях. Вот почему из камеры судьи слышались в течение по крайней мере двух-трех часов только одни и те же фразы:

– За оскорбление при исполнении служебных обязанностей...

– Да ведь он же меня обобрал-то!

– Ты можешь взыскивать судом, но не имеешь права... На один день... Доволен?

– Шут его дери... пущай! Пес с ним.

И «довольные» выходили по очереди из камеры, держа в руках шапки и бормоча:

– Кабы урожаю бог дал, так не был бы я у него, у живореза, в лапах!

Но хотя «живорезы» и чувствовали, правда, не полное, «маловатое» удовлетворение, видя своих обидчиков, направляющихся в темную, «неурожай», о котором им было известно ничуть не хуже кого бы то ни было и который таился тут, в глубине всего этого беспокойства, заставлял их чувствовать, что ихнее начальническое дело тоже будет не совсем ладно: ведь за стеной сидит исправник, а это вовсе не означает, чтобы вместо неурожая вдруг урожай сделался.

А у исправника дела было еще больше. Для скорости и подмоги в маленькой камерке, прилегавшей к присутствию, занимаемому исправником, – камерке, в которой старшина и волостной писарь обыкновенно пьют чай, принимают взятки и шепчутся относительно разных дел, – заседал волостной суд; этим судом еще с осени было приговорено к двадцати ударам розог человек двадцать пять неплательщиков, объявившихся к февралю месяцу представить либо деньги, либо «мягкие части». Но прошел и февраль, и март, и вот уж идет и апрель, а ни денег, ни мягких частей от этих козлиц не получено. Старосты и старшины, обессилев в личной борьбе с этой упорной и как камень бесплодной нищетой, представили теперь всю эту голытьбу прямо господину исправнику, а для «скорости» в исполнении приказаний последнего со-

звали волостной суд.

– Кабы ежели бы хлебушка бог дал!

– Все работишки нетути, вашескородие!

– Ономясь вон хоть солому прессовали, а ноне...

– Не мое дело! – вопил исправник. – А на кабак есть деньги? Ты чего пьяный сюда затесался?

– Мы, вашескобродие, собственно...

– Собственно! Знаю я вас, каналий! Писарь, пиши волостной приговор...

– Эй, судьи, чего ж вы? – шепчет писарь, и судьи постановляют сечь пьяного.

Голос исправника гремит немолчно среди шума, просьб и объяснения причин, даваемых сразу всей толпой. Но разве может быть какое-нибудь уважение к этим объяснениям, если вообще невозможно уважить такую понятную и объяснимую, ясную причину, как неурожай? И вот почему исправник гремит и жестокосердствует, но он снисходителен, и некоторым опять дается отсрочка до Троицы, до Петрова дня, а некоторые «упорщики», «пьяницы» и вообще крайне неблагонадежные элементы деревенского общества идут под сарай, куда сторож несет розги, а два мужика идут помогать, то есть держать.

Таким образом, волостное правление, недавно еще молчаливое, начинает оживать, шуметь и двигаться. «Дела» кипят и выражаются в том, что под сараем идут разговоры о розгах, мочить ли их или так, идут уговоры непокорных: «ложись,

ложись, не ломайся». В камерах судьи, волостного суда и исправника шум и крик, и все неурожай да неурожай. А в то же время из волости и из камер народ разбредается двумя потоками в разные места: от мирового судьи поток людской направляется в «темную», от исправника и волостного суда – под сарай. А скоро и третий поток хлынул оттуда же, из здания волости, хлынул сильным течением... Кто это? Увы! Это уж сами сельские власти, старшины и старосты... И их тоже исправник препровождает в темную, за нерадение, за неисполнение приказаний, за упущения во взыскании.

– Знаю я, какой у вас неурожай! Небось с своим сеном, так по неделям в Петербурге живали, негодяи, а в деревне хоть трава не расти! А кто отвечать будет? Что ж мне за вас, негодяев, в темной сидеть, что ли?.. В темную!

– Да ведь, вашескобродие, кабы урожай бы... а то...

– В темную, каналы!

Эти три потока «виноватых», которые обильно истекали из дверей волостного правления каждую минуту, смешиваясь на волостном дворе, служили обильною пищею для острот тем деревенским счастливым, которые почему-то остались в числе правых и пользовались завидною долей – стоять в стороне от всех этих беспокойств и «делов».

– Ты куда, Сафрон Петрович?

– Да в темную, ангел мой, приказывают!

– Ты-то в темную? Да ведь ты, кажись, тоже из предержанных?

– Ну, брат, там этого не разбирают!

– Не ладно! И это ты вместе с Егоркой будешь тамотко?

– Мы, Кузьма Иваныч, – говорит сам Егорка, забулдыга из числа «неплательщиков» и «упорщиков», – мы вместе с Сафрон Петровичем за границу едем. На менеральные воды. Он меня берет вроде губернантки...

– Компания, нечего сказать!.. Компания!.. А там, под сараем-то, что такое? Шумят что-то!

– А там, Кузьма Иваныч, молотья идет... Хлеба нету, сами знаете... так вымолачивают из непокорных особов...

– Что ж, поди, подешевеет... хлеб-то?

– Навряд, штобы подешевел... Молотить – здорово молотят, а не видать, чтобы много намолотили... И даже до крови добрались, а зерна настоящего не видать.

– Да что ж он, дурак, дерет-то? Аль он очумел?

– Известно, дурак, солдат безмозглый.

– Поди-кось, я ему, подлецу... У нас и при господах, так и то больше по дереву хлопали, а он, дурак, теперича вздумал...

И разгневанный Кузьма Иваныч, мужик, имеющий некоторое представление о том, что такое означает в самом деле слово «порядок», уже без шуток идет под сарай.

Мало-помалу шум, толкотня, насмешки, брань, приговоры и приказания начинают стихать, сначала под сараем, потом у мирового, потом у волостных, а потом и у исправника. Все окончено; надо ехать в другое место. Исправник про-

сит водицы и «с устатку» пьет прямо из ковша; мировой чувствует потребность умыться, вымыть лицо и руки; волостные судьи тоже устали и понемногу разбредаются, утирая лбы, и, наконец, появление донельзя уставшего Апельсинекого, всего в грязи и всего мокрого от поту, кладет окончательно предел деловому дню. Приказывают подавать лошадей и уезжают.

Все затихло и замолкло, разошлось, разъехалось и разместилось в темной. Все было сделано не сумасшедшими и не пьяными; но все, решительно все действующие лица, участвовавшие так или иначе в событиях дня, чувствовали себя в самом нелепом душевном настроении. Все они давным-давно свыклись с той мыслью, что именно в том, что происходило сегодня, и заключается то, что называется «делом», «службой»; но в то же время каждый из них чувял, что все эти дела – ничто сравнительно с той простой нуждой народной, удовлетворение которой тотчас же прекратило бы весь этот тяжеловесный, деловой сумбур. Простое, внимательное удовлетворение простых человеческих потребностей, простой, понятной, ясной человеческой нужды, сделанное без шума, гама, крика, без розог и холодных, – в результате которых ничего, кроме сумбура и тоски, нет, – чувствовалось всем, как действительное, настоящее дело, то самое, которое именно и нужно делать; но оно, это простое внимание к нужде человека, в то же время казалось всем почему-то недостижимо далеким, несбыточным мечтанием, фантазией, и, напротив,

вот этот тяжеловесный сумбур, безрезультатность которого была также всеми понимаема, не рисовался в каком-то отдалении и тумане, а угнетал каждого, ощущался в самой явственной физической боли, недомоганье, усталости. Служба отечеству, оторванная от действительных нужд человеческих существ, из которых это отечество состоит, выразилась в массе каких-то таких служб и таких деяний, которые, по малой мере, возбуждают только всеобщее равнодушие, выражаются в безрезультатной суете-сует, и в то же время не уважающее этой суеты-сует человечество привыкло, сжилось с мыслью о том, что эта суета-сует как бы вещь неминуемая.

Но в конце концов никто из действующих лиц этой сегодняшней сцены не мог, как говорится, разобраться в своих мыслях. Точно облака удушливой пыли, поднятые этой суетой, затемняли здравый рассудок каждого.

– И что же это будет? – сидя в темной, размышлял старшина или староста. – Я же начальник и меня же вместе с прохвостом? И кто же меня будет слушать, бояться?.. А ежели меня не бояться, не почитать, так что ж будет значить мое слово? И что ж это сажать начальника, когда явственно взять нечего? Теперича я просижу день, что ж, прибавится взносу-то от этого или нет?.. Ты сажай прохвоста, пьяницу, а начальника береги, да тогда и взыскивай!..

– Нет, это очень прекрасно, что вас, живорезов, учить стали! – говорил начальнику «упорщик» и грубиян Егорка. –

Вашему брату давно бы уж пора руки к лопаткам прикрутить! Ишь ты, как лапы-то растопырил, пасть-то разинул... Так тебе и полезу я прямо в хайло! Кабы не неурожай, так попал бы я тебе в лапы-то, как же, ухватил бы ты меня! Очень прекрасно, что вашего брата приструнивают, а вот нашего-то брата уж не за что в темную-то пхать; уж это надобно сказать прямо... За что? У меня хлеба нет, работы нет, есть нечего. Чем я виновен, что урожаю нету? Опять же из-за чего я перезаложил вам, живорезам? Кто меня обобрал? Чем мне платить, коли я тебе все отдал? Нет! Тут правды несколько нет! Ну чего от меня проку-то будет, ежели я сутки просижу?.. Ну?..

И такие странные, тяжелые мысли, у которых никто не был в состоянии свести концы с концами, тяготели решительно над всеми участвующими. Мировой судья, сидя в земской телеге, направлявшейся на станцию железной дороги, попробовал было оправдать все происходившее какою-нибудь высшею целью, каким-нибудь неприметным простому глазу благом и пытался доказать самому себе, что такая на первый взгляд бесцельная суета все-таки в конце концов имеет соприкосновение с поднятием курса русского рубля, а следовательно, с благом общественным, но при всем его желании «свести концы с концами» из размышлений его не выходило ровно ничего. Такая простая вещь, как неурожай, а вместе с ним масса других, не менее простых вещей и нужд, не имеющих даже и отдаленного права надеяться

быть просто удовлетворенными, разбивали его софистические размышления, и он чувствовал только, что он устал, что дел никаких не было, что была суета, пустяки и шум... шум, езда и жалованье в конце концов.

Мрачен и утомлен был также и исправник, и ему было не по себе, до того не по себе, что, встретив на дороге мужика той деревни, из которой он уехал, он приказал ему передать, чтобы выпустили из темной всех, кто там есть. Он делал то, что следует ему делать, но все, что он делал, было никому и ни на что не нужно. Не нужно ему, не нужно семье, не нужно деревне. Он ясно чувствовал, что нужно вовсе не то, а что-то гораздо более тихое, простое, человеческое. Но это опять-таки одна фантазия.

Апельсинский также нерадостно смотрел на белый свет. Он описал у мужика теленка, который был до того мал, что не мог держаться на ногах, для чего мужик должен был вынести его на руках, как младенца. И теленок-то стоит четвертак. Как все это чудно, тяжело, бестолково, а надо! Ничего не поделаешь... А рядом с Апельсинским сидел тот же самый ямщик, который вез их всех в волость и раньше, сидел и думал:

«Сколько езды-то! Вон опять у лошадемок брюхо-то подвело! Сколько народу-то ездит... А чего? Коли бы ежели бы урожай был, а то нехватка, недостача... А что шуму-то! Да не пимши, не емши...»

В самом мрачайшем расположении духа подъехали пас-

сажиры земской подводой к станции. Но здесь они неожиданно натолкнулись на сцену, которая весьма облегчила их измученные души, потому что в самых ярких чертах указала выход из бесплодной, но каторжной суеты жизни, которою они были подавлены.

Тяжелою, утомленною поступью поднялись они все трое по ступенькам вокзала, сопровождаемые земским ямщиком, несшим за ними портфели, плотно наполненные делами, когда в самых дверях буфета на них налетела какая-то пьяная фигура.

– А, ямщик! Михайло! Ты Михайло? – заплетавшимся языком бормотала фигура, бормотала громко, на весь вокзал, покачиваясь и махая руками.

– Так точно, ваше высокоблагородие... я-с самый!

– Это... т-ты м-меня вез?

– Точно так... мы везли-с.

– А про девчонку ты объяснял?

– Это про энту-то? Как же, ваше благородие... это я вам докладывал.

– А-а! Ну верно, верно! Давай я тебя поцелую! Верно, брат, брат ты мой милый! Михайло, голубчик, верно, родной, все верно!

И следователь (это был, к сожалению, он), как говорится, облапил извозчика и, шатаясь, целовал его в губы, в бороду, захлебываясь и всхлипывая. Он был сильно пьян.

– Верно! – бормотал он в промежутках между поцелуя-

ми. – Нужда, брат, Миша!.. А мы в острог, пррро-токол... прокурор... Голубчик, прости! Подлец, да, подлец... прости подлеца!..

– Ну, будет, Николай Петрович! – желая прекратить эту сцену и трогая следователя за рукав, тихо проговорил Апельсинский. – Ведь народ... дамы, не ловко же!

– А-а-а!.. – удивленно и попрежнему громко, во всю мочь возопил следователь, обернувшись в сторону Апельсинского. – Сотоварищ... Э-э-э!.. и господин исправник тут же... да тут все... вся армия спасения... культура, цивилизация и эмансипация...

– Ну, будет, будет! – шептал Апельсинский.

– Нет! Очень приятно... Здравствуйте, господа, и прощайте... Оревуар! Мерси!³ Не ожидал! Предоставляю вам арену, арену-с, а меня увольте. Увольте меня! во мне есть бог! да! Бог во мне есть! Культурная вы мастеровщина!.. Не хочу! довольно! будет! Я учился, я читал, я думал... и я пойду тащить в острог мужика? Нет, не будет этого!

– Ну, будет, будет, Николай Иваныч!

– Нет! Не будет! Я посадил девчонку, теперь мне надо сажать целую деревню... Кулачишка им сделал подтоп мельницей, оставил без сена, без молока, без пищи ребятам, без скотины, без дров... Я, университетски образованный, я должен стоять за кулачишку: у него собственность, плотина, а они самовольно ее разломали... У них дети, старики, жены, это

³ До свидания! Благодарю! (*франц.* Au revoir! Merci!).

ничего! Это ниже собственности!.. Мне этого довольно, довольно! Позор, стыд, срам... Эй! Эй! Человек! на тебе фуражку! Водки давай! Давай лапти! Лапти мне!.. Это... это... что это? Что такое? Да! Это одна езда, езда и кровь человеческая... Лапти давай мне, каналья!.. Лапти!..

– А ведь, ей богу, так! – сказал исправник.

– Верно! верно! – воскликнул Апельсинский и хотел было с объятиями броситься к следователю, но в это время с дивана вскочил какой-то пассажир и громко крикнул:

– Что это за безобразие! Выведите его вон, каналья! Здесь дамы!..

Восклицание это было до такой степени грозно, что любопытные, начавшие стекаться на шум, производимый следователем, вдруг раздались в стороны, следователь замолк, а я... проснулся.

Оказалось, что я спал крепким сном и проснулся оттого, что поезд владикавказской дороги, по которой я ехал, остановился около какой-то станции, а по платформе два жандарма тащили под руки какого-то огромного пьяного, ободранного человека с косой на плече...

– Выведите его, каналья! Долой с платформы! – кричал начальник станции. – Здесь дамы... дети!..

Я понял, что именно этот голос и разбудил меня.

Не все, однако, рассказанное мною, происходило только в сновидении. Я очень хорошо помню, что о весенней голодовке в наших северных местах и о той «деловой суете су-

ет», которой она сопровождалась, я стал думать потому, что, садясь в вагон владикавказской дороги, чтобы ехать домой, на север, и, таким образом, поканчивая с летними впечатлениями жизни на юге, я невольно стал вспоминать то время, когда я только что стал собираться ехать на юг, и вспоминал весну, а с ней и голодовку и суету сует. Но где же та точка, с которой мои совершенно реальные впечатления перешли в сновидение? Этот вопрос тотчас же бросился мне в голову, как только я открыл глаза и убедился, что я спал, и, на мое счастье, действительность почти тотчас же рассеяла мои недоумения: как раз против окна вагона, в которое я смотрел на станционную публику, стояла группа тех самых деятелей, которые мне приснились; тут был и исправник, и мировой, и следователь, и еще много разных людей с портфелями, набитыми бумагами; но все они были так светлы, так спокойны, здоровы и веселы, что решительно не напоминали своих сотоварищей, приснившихся мне во сне; ни сомнений, ни терзаний, ни вздохов – ничего этого нельзя было ожидать от совершенно спокойных, изящных людей, которых я видел в действительности. Ясные, светлые лица их и спокойные приемы не давали, правда, возможности решить вопроса о том, почему лица эти так ясны и самодовлеющи? Потому ли, что дела их ясны и светлы, или потому, что в темные и неясные дела они сами только и делают, что вносят свет? Но, и не затрудняя себя решением этого вопроса, можно было все-таки ясно видеть, что это вот не приснившийся, а настоящий

исправник, это настоящий следователь, а это заправский судебный пристав, да вот и столик с картами и мелом пронесли для них два сторожа в первый класс, – очевидно, что люди настоящие, делающие какое-то, должно быть, тоже настоящее дело.

Примечания

Печатается по последнему прижизненному изданию: Сочинения Глеба Успенского в двух томах. Том второй. Третье издание Ф. Павленкова, СПб., 1889.

Рассказ, входивший в цикл «Очерки русской жизни. (Наблюдения и компиляции)», впервые был напечатан в «Русской мысли», 1885, № 8. Входил с исправлениями в Сочинения писателя, в раздел «Очерков».

В 1903 году цензура запретила отдельное издание «Дохнуть некогда», указав, что созданная Успенским «картина мужицкой нищеты и беспомощности, а также описание способов получения от голодающего населения недоимок являются совершенно недопустимыми в дешевом народном издании».